

1.

Я стою, укутанный, возле своей арки, рядом белые, на фоне тьмы, сугробы и ухабы. Справа появляется пьяный и съезжает в ухаб прямо передо мной, успев лишь мотнуть головой, и к моим ногам прилетает его потерянная ушанка. И в замершем моем теле вдруг оживает горячая душа, я хватаю его шапку, бережно отряхиваю варежкой и, обогнув ухаб, протягиваю ему. Он изумлен. Тут грабят обычно, и вдруг — ангелок! Недоверчиво взяв шапку (жизнь меняется, что ли?), он лезет за пазуху — и подает мне мятый трояк: чуть маслянистую, сине-зеленую купюру, с воинами в шлемах (танкисты или летчики?). Сняв варежку, я вежливо беру... И он тут же заскользил в следующую яму, откуда стремительно вылетел, ногами вперед, снова утратив шапку... Вырвал ее из моих рук и сразу же вслед за ней — трёшку, которую я не успел еще спрятать (да и не знал куда). «Устроили тут!» — пробормотал он и ушел, оставив меня изумленным.

Для меня и ленинградская квартира, в которую мы недавно переехали из Казани, полна

тайн. Наш дом в старинном Саперном переулке, в Преображенском полку (как писали когда-то на письмах), казался таинственным замком. Даже в квартире были какие-то загадочные темные тупики, обрубки коридора, непонятные ниши в стене, куда-то ведущая маленькая дверка над большой дверью. Отец не разрешал мне туда залезать, но я знал, что там живут маленькие люди. По ночам — я видел это несколько раз — они спускали оттуда доски и съезжали на маленьких мотоциклах — правда, в полной тьме.

У другой стены росла огромная, зеленая, ребристая батарея отопления — почти до самого потолка. Почему-то я сразу же мысленно назвал ее лошадю: нижняя труба, уходящая в стену, — хвост, верхняя труба, уходящая в потолок, — шея. А голова где-то там, в загадочном, недостижимом пространстве за потолком, видит то, что мне не увидеть. Притом — в ребристом животе батареи-лошади плещутся и булькают рыбки, я-то явственно слышу их, приложив ухо к горячим ребрам. «Плещутся? В кипятке?» — насмешливо спрашиваю я себя. «Да!»

Слушая батарею, я ловил изумленно-огорченные взгляды родителей. Это огорчало и меня. Но что делать, если самое важное — там.

Еще одна загадка — кованный старинный сундук. В Казани он был в бабушкиной комнате, а здесь стоял в коридоре. Нам строго-настрога запрещали открывать его. Почему? Оказывается, мы можем в нем захлопнуться и задохнуться. Делать нам больше нечего! Я мог попросить бабуш-

ку открыть сундук... но тогда, я чувствовал, тайна бы исчезла.

И, умело прикинувшись больным (даже температура повысилась!), я остаюсь дома, и, как только все ушли и хлопнула дверь за бабушкой, ушедшей последней, — я тут же покидаю кровать. Бабушка любит ходить по магазинам, так что час у меня точно есть. Босым, чтобы можно было сразу оказаться в постели, я бесшумно иду по коридору. Всё тщательно продумано. А значит, серьезно. Я найду там какую-то тайну жизни!

И я впервые подхожу к сундуку. Вот он стоит в углу коридора, косо освещенный солнцем. Из другой эпохи он! Бронтозавр среди прочей нашей невзрачной мебели. Обитый синим непроницаемым железом, да еще сверху, крест-накрест, железными полосами, образующими ромбы, — и на стенках, и на крышке. С крышки свисает тяжелая ручка с дыркой для кольца, вделанного в сундук. В кольцо должна входить дужка висячего замка. Я его помню. Но нет его! Сняли родители. Представить себе ребенка не только закрытым в сундуке, но еще и запертым на замок! — выше их сил. И нервы их сдали. И замок они сняли. Беру в ладонку смертельно холодную висячую ручку и тяну крышку вверх. Заело! Но это не повод отступать. Дергаю, и вот крышка сундука поднимается с древним скрипом, и открывается... синяя ткань, закрывающая всё. Нельзя туда! Ясно тебе?.. Не совсем. Ткань не отбрасываю — слишком дерзко, но запускаю под нее руку, ощупываю какой-то предмет. Сердце колотится.

Странно — этот предмет я знаю. Откуда? Как это может быть? Я, что ли, жил раньше... тогда? От мысли такой задыхаюсь — но предмет медленно вынимаю... Знаю его. Фотография в рамке. Портрет! Бабушкин старший брат. Аркадий, называла его она, а мы его, когда он приезжал в Казань, называли ласково дядя Кадя. Красивое, благородное, чуть надменное лицо с густыми бровями... Китель большого технического начальника с молоточками в петлицах. Слышал за столом от взрослых, что он работал в Кемерово, почему-то с уголовниками, руководил строительством... и вдруг портрет его спрятали в сундук. Но не выбросили! Залезаю еще раз. Нащупываю... пенал. Очень тяжелый. Рука такого не помнит. Не сундук, а какой-то лаз в прошлое. Вытаскиваю. Продолговатая серая коробочка, обтянутая... даже не знаю чем. Закрытая сбоку на тоненький, плоский, похоже, латунный крючок. Что-то очень важное там должно быть. Пустое в сундук не прячут. Откидываю крючок, поднимаю крышку... и замираю. Атласное алое нутро — с углублениями, и в них — ряд изящных гирек с головками, от самой крупной, величиной с орех, — до самой крохотной. Целый мир! В крышке изнутри — матерчатая петля, куда вставлен тонкий пинцет, способный взять любую гирьку за шейку и — поставить на весы. А где сами весы? Какой-то точной работой занимался дядя Кадя с этими гирьками. Сундук его. Оставил нам в Казани, когда приезжал. Точно. Глядя на гирьки, понимаю с волнением: есть на земле аккуратная, ответ-

ственная работа, весомая, как эти маленькие гири. Во всяком случае — такая работа и такие люди точно были. И мой долг теперь — придерживаться того же. Не случайно я открыл этот лагерь. Обмана те гири не простят! Поэтому их так и «запичужили», как говорила бабушка, то есть запрятали, — чтобы не мозолили лишнего глаза кому не надо... За честность и точность дядя Кадю, видимо, и убрали... Но гири достались мне. Ящик закрывается, крючок защелкивается. Прячу «гробик». Быстро и бесшумно закрываю сундук. Теперь это — мое.

Открывается дверь, появляется бабушка.

— Ты чего такой радостный?

— Да так!

...Прошли десятилетия. И что теперь в сундуке?.. Всякий хлам! И это итог моей жизни? Почему? Я ведь так старался!

...Вот я впервые в жизни веду за собой толпу сверстников, утирая горячий липкий пот, хотя прохладно и ветрено. Я понимаю в отчаянии, что погибну сейчас, зачем-то решившись — зачем?! — показать посторонним, чужим людям — свое!

Первое, что я собрался показать всем, — двух огромных, розовых, бородатых, мужиковатых атланта, подпирающих дряхлый эркер дома № 11 по нашему Саперному переулку. Они почти близнецы. Но — один стоит босой, как положено атлантам, а другой почему-то (необъяснимо, непостижимо!) в высоких, туго зашнурованных каменных

ботинках! Нельзя такое пропускать! Я слышу свой прерывающийся голос, относимый ветром. Помню свои горячечные жесты — и смешки публики. То смешки холодные, издевательские? Нет — ребята хлопают по плечу: «Молодец, Попик (от фамилии Попов)! Всегда что-то такое увидит!» Но это ребята с нашего двора. Раздухарившись, привожу других, из соседнего двора, и слышу: «Муть какая-то, на фига притазились!» С тех пор так и идет моя жизнь: «Ты — король! Ты — ноль!» Всем ли выпали такие волнения? Да нет — другие вон как спокойно живут! Но мне эти волнения — навсегда.

Первый урок. Одно из самых отчаянных ощущений в жизни. Все откуда-то уже знают, как надо, уверенно общаются — лишь я растерян и одинок. С моими фантазиями упустил то, что усвоили все, и их уже не догонишь! Страшное ощущение: никто тебя здесь не любит, и ничего нельзя сделать — засмеют! Несколько моих робких попыток вступить в разговор уже встречены ухмылкой... Чем я не такой, как все?

Тусклый класс с маленькими мутными окнами (такими они казались после наших домашних, огромных). Учительница раздает по партам одинаковые серые тетрадные листки в клетку. Первое классное задание — все должны нарисовать, что хотят. И безликая, на первый взгляд, масса стриженных школьников сразу будет разделена — каждый сейчас покажет на листке, сколько места он займет в этой жизни. Поглядываю вокруг: все рисуют танки, самолеты, помногу, и это понятно.

Сорок седьмой год! Недавно кончилась война. Девочек в нашей школе нет, поэтому никаких цветов. Танк, самолет — верное дело. А я почему-то робким нажимом тупого карандаша намазываю крохотную серую уточку размером в мелкую тетрадную клеточку: на большее не решаюсь. Но быть как все не хочу. А уточка — моя! Откуда она приплыла? Из какой тьмы? Но я знаю, что не случайно... Но вот — жирная тройка на листе: цена моей уточке. И мне? Навсегда?

Вот учительница, черноволосая и толстая, уже уверенно разделившая класс на «высших» и «низших» (так легче управлять), ведет обычную педагогическую экзекуцию. Брезгливо держа пальчиками мою растрепанную тетрадку, издевается, торжествует:

— А вот эту... портянку ученика Попова надо повесить на отдельный гвоздик — вытирать доску!

Все радостно гогочут, и я понимаю эту радость — чморят не их. Четко различаю два вида смеха — громогласный, уверенный смех победителей и подобострастный, заискивающий смех изгоев: «Да, мы жалкие, но не такие ведь жалкие, как Попов! Ведь не такие же, да? Так пусть ему это все достается — чем ему больше, тем меньше нам!» Я жалок, мал, унижен, смешон, пальцы мои измазаны чернилами и дрожат, но кто-то спокойный и уверенный уже живет во мне, все различает, запоминает.

И вдруг — забулькала в батареях вода: это рыбки мои приплыли из домашней батареи — мы с тобой! Чувствую подступающие слезы, но, глубоко вздохнув, удерживаю их... Стрелки на настенных часах

Валерий Попов

неподвижны. Вот, наконец, выдали, выщелкнули минуту — и снова стоят. Почему так тускло светят плафоны? Почему так плохо тебе — в любом деле, которое придумал не ты? «Так надо! И уточку — не отдам!» Это мой голос... А вот чужой:

— Попов у нас спит наяву. Пять минут уже вызываю его к доске!

— Да, да! — произношу я. — Сейчас.

«Об уточке думал!» Но этого я не говорю.

— Он еще улыбается! — восклицает училка.

Мой мир торжествует! А ее рушится. Я выхожу... и вдруг — отвечаю урок уверенно. Она оскорблена. Как может этот Попов ломать устоявшееся? И причем — спокойно, словно так и надо!

В школу я брел еле-еле. Слишком много там скопилось того, что было непереносимо. Да еще, ко всему прочему, столь далекий путь. Уж не могли назначить школу поближе, их рядом полным-полно. Сурова жизнь и зачем-то несправедлива. На повороте с улицы Маяковского на Пестеля, как всегда здесь, ударил резкий ветер, выбивающий слезы. Вот появлялась эта школа — неприхотливое, суровое здание. Дорогу затягиваю всячески и вхожу уже, когда урок идет. «В церковь ходил, свечку ставил!» — крик хулигана Спирина, и хохот класса, поддержанный усмешкой учителя. Не любят меня...

Но должна же быть какая-то помощь в этом мире? Справа поднималась огромная белая гора Спасо-Преображенского собора, и однажды, в полном уже отчаянии, я поднял свой взгляд на собор.

На круглом циферблате под куполом стрелки показывали без пяти девять. Я не опоздал! Мне подарено пять минут! И всегда тебе будет помощь — если ты будешь достоин ее. Тебя видят и любят. Но если ты обнаглеешь — подари-ка, мастер, десять минут, потом пятнадцать, — эта помощь рассеется, словно и нету ее. Но я ее чувствую. И не отпущу. И так вхожу в школу.

Морозный солнечный день. Отец, появившийся наконец из своих командировок, встречает меня в школьной раздевалке. Я сбегая по лестнице, мы обнимаемся — и я сразу же раскрываю тетрадку. В тетрадке моей: «ЛЫЖИ ЛЫЖИ ЛЫЖИ» — и красная пятерка чернилами. Перо чуть зацепилось за щепку бумаги в листе и брызнуло — брызги эти помню как сейчас.

— Молодец! — высокий, крепкий отец рядом, рука его на моем плече полна силы. — На лыжах пятерку догнал!

Умеет он метко сказать! Мы смеемся. Выходим. Идем вдоль ограды храма.

— Видал — стволы трофейных пушек! — отец показывает на сизые от мороза чугунные столбы, соединенные свисающими цепями. — Захвачены преображенцами, а это их церковь полковая.

— Захвачены? В эту войну? — морща лоб, изображая понимание, произношу я.

— Ха-ха-ха! — отец хохочет. Я обижаюсь. — Эх, товарищ Микитин, и ты, видно, горя немало видал! — произносит отец свою любимую ласковую присказку, шутливо сдвигая мою шапку на брови